

**Глеб Иванович Успенский**

**Нравы Растеряевой улицы**

**Москва  
Книга по Требованию**

УДК 82-3  
ББК 84

**Глеб Иванович Успенский**

Нравы Растеряевой улицы / Глеб Иванович Успенский – М.: Книга по Требованию, 2011. – 120 с.

**ISBN 978-5-4241-1837-1**

В «Нравах Растеряевой улицы» (1866), первом крупном очерковом цикле, русский писатель Г.И.Успенский (1843—1902) показал жизнь трудового народа.

Из описаний типов и нравов этой улицы вырастает сложное социально-психологическое обобщение «растеряевщины», которое включает в себя разнообразные стороны быта и сознания: это и привычка к полной бездумной неподвижности, и страх перед жизнью, требующей размышления, это горькая, неизбывная нужда, неопикуемая нищета, это такой порядок вещей, при котором люди не знают, что такое счастье, потому что «честному, разумному счастью здесь места не было».

**ISBN 978-5-4241-1837-1**

© Издание на русском языке, оформление, «YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, «Книга по Требованию», 2011

Успенский Глеб  
Нравы Растеряевой улицы



## ГЛЕБ ИВАНОВИЧ УСПЕНСКИЙ НРАВЫ РАСТЕРЯЕВОЙ УЛИЦЫ

В городе Т. существует Растеряева улица.

Принадлежит к числу захолустий, она обладает и всеми особенностями местностей такого рода, то есть множеством всего покосившегося, полуразвалившегося или развалившегося совсем. Эту картину дополняют ужасы осенней грязи, ужасы темных осенних ночей, оглашаемых сиротливыми криками "караул!", и всеобщая бедность, в мамаевом плену у которой с незапамятных времен томится убогая сторона.

Бедное и "обглоданное", по местному выражению, население всякого закоулка, состоящее из мелких чиновников, мещанок, торгующих мятой и мятной водой, мещан, пропивающих все, что выторговывают их жены, гарнизонных солдат и проч., такое бедствующее население в городе Т. пополняется не менее обглоданным классом разного мастерового народа.

В Т. с давнего времени процветала промышленность всякого рода металлических изделий: в городе и в окрестностях находятся чугунолитейные, колокольные, самоварные и другие заводы. Кроме того, город славится известным заводом стальных изделий, населившим своими рабочими все Заречье и целую слободу Чулково. Это сторона совершенно особенная; обыватели ее, когда-то пользовавшиеся разными правительственными привилегиями, гордо посматривали на мастеров городской стороны, работающих в одиночку, и при встречах не упускали случая поделиться взаимными любезностями: "кошкин хвост!" - говорил один, "огурцом зарезался", - отвечал другой, и оба с серьезными лицами проходили мимо. От насмешек зареченского мастера, или казюка, как называют их мещане, не уходил даже чиновник, для которого тоже были изобретены особенные клички, например: "стриюцкий" или "точеные ляшки" и проч.

Растеряева улица лежит на городской стороне, но общий колорит рабочего города отразился и здесь. Вот, между прочим, в лачуге, ниоткуда не защищенной заборами, проживает представительница собственно растеряевского мастерства, старая солдатка, "кукольница". Под ее дряхлыми пальцами цветет отечественная скульптура; в летние, погожие полдни на завалинке ее лачуги непременно сушится несколько глиняных офицеров и дам и бесчисленное множество лошадей-свистулук с одними передними ногами. Растеряевские мальчишки запасаются этими свистящими конями и в течение целого года разнообразят смертельно пронзительным свистом свое горестное существование. В таких же лачугах живут сверлильщицы, наждашницы, женщины и девушки, занимающиеся на фабриках. В этой же улице живут гармонщики, токари, наводьящики и т. д. На конце улицы, упирающейся в широкое Воронежское шоссе, виднеется квадратное здание из темно-красного кирпича самоварная фабрика. Все эти мастерства дают Растеряевой улице несколько иную сравнительно с другими захолустьями физиономию. В дни отдыха молчаливая физиономия ее оживляется драками и пьяными, разбросанными там и сям. В будничные дни к звонкому пению кур присоединяется стук молотков, то попережку, то сразу вдруг обрушивающихся на отчеканиваемую металлическую массу; звуки гармонии, на которой мастер для пробы тронул с "перехватом"; жужжание токарного станка - и надо всем этим, по обыкновению, тихая песня.

В темные зимние вечера, когда бывали обыкновенно везде уже заколочены

наглухо ворота и ставни и обыватели ложились спать, окна фабрики были еще ярко освещены, из осьмигранной трубы медленно выползали большие мутно-красные искры, тотчас же потухавшие в темном воздухе.

Никем не вспоминаемая, никем не сторожимая, Растеряева улица покорно несет свое бремя - нужду. Стук молотков, постоянная песня или бойкая шутка мастерового, идиллическая веселость детских уличных игр или развеселая сцена бабьего столкновения, разыгравшаяся среди бела дня и среди улицы, все эти внешние, уличные проявления растеряевской жизни не дают, однако, никакого понятия о том темном горе жизни растеряевского обывателя, которое гнетет его от колыбели до могилы.

Мы узнаем его постепенно и, как ни удивительно будет это для читателя, начнем наше знакомство с растеряевским горем при помощи такого растеряевского человека, который, ко всеобщему удивлению, иногда с совершенно покойною совестью может сказать о себе:

- Чего ж мне еще от Христа моего желать?

Человек этот был пистолетный мастер, молодой малый, по прозванию Прохор Порфирыч, обитавший в собственном

домишке. Ради такого дивного дива мы прежде всего и познакомимся с этим счастливым человеком, чтобы вместе с тем познакомиться с скромными растеряевскими людьми всякого звания, по-своему недовольными и по-своему счастливыми...

## I. ПРОХОР ПОРФИРЫЧ

Года два тому назад Прохор Порфирыч еще не был постоянным обывателем Растеряевой улицы, хотя улица эта вынырнула его и выпустила на свет божий из своих голодных недр. Дело в том, что в Растеряевой улице когда-то давно поселился отставной полицейский чиновник, упрочивший за собой славу великого дельца и человека особливо неустойчивого насчет женского пола: так, он развелся с женой, необыкновенно слезливой женщиной, и сошелся с ярославской мещанской девицей Глафирой, которая долго держала прихотливого барина в своих руках и под конец все-таки должна была отказаться от него в пользу чиновничьей дочери Лизаветы Алексеевны, девицы средних лет, с опущенными всегда в землю глазами и жестоким стремлением к воровству. Глафира, впрочем, не рассталась с баринком: низведенная на степень кухарки, она решилась скоротать свой век в кухне и полегонечку начала запивать. Прихотливый барин тоже и сам не имел духу прогнать ее (что следовало по обычаю), потому что у него было два сына, которые хоть и назывались Порфирычами в честь ветхого кучера Порфирия, но и барин, и Глафира, и дети знали, в чем дело. Старший сын Глафиры оставался при доме, в качестве лакея; младший, Прохор, отдан был в ученье к токарному мастеру. И в то время, когда веселый дом чиновника уныло стоял с запертými в нижнем этаже окнами, когда в саду его не слышно было больше пьяных чиновничьих голосов, распевавших светские и духовные песни, а сам барин, пораженный всяческими недугами, неподвижно лежал в маленьком мезонине, ожидая смерти, Прохор Порфирыч, в эту пору двадцатитрехлетний парень, работал за Киевской заставой один, на себя, приготавливая на продажу револьверы.

В это время и начинается наше с ним знакомство.

Вследствие ли сознания своего "благородства" или вследствие житейского опыта, Прохор Порфирыч держался как-то в стороне от своих собратий масте-

ровых, не походя на них ни в чем: его никто никогда не видал в драке, с разбитым глазом или пьяным, валяющимся где-нибудь среди лужи.

Растрепанная, ободранная и тощая фигура рабочего человека, с свалывшеюся войлоком бородой, в картузе, простреленном и пулями и дробью во время пробы ружья, с какими-то отчаянными порывами ежеминутно доказывать, что "жизнь - копейка", такая отчаянная фигура совершенно не походила на фигуру Прохора Порфирыча: на нем всегда был цельный, опрятный картуз, лицо тщательно вымыто, а грязная шея, запыленная мельчайшими железными опилками, носящимися в воздухе мастерской во время работы, пряталась под гарусным шарфом, придерживаемым плисовым воротником достаточно подержанного драпового пальто. Плохонькие, но все-таки выпускные панталоны и ясные признаки поплеывания на носки грязноватых сапог, все это говорило о желании иметь хоть какое-нибудь подобие человека, и главное, человека благородного. Вообще он не столько походил на мастерового, сколько на семинариста, благочиннического сына; у него не было только этого довольства фильдекосовыми перчатками, этого страстного желания расплатать огненного цвета шарф по всей спине, да и физиономия его носила следы постоянной сдержанности, вдумчивости, дела, что сам Прохор Порфирыч называл "расчетом", руководясь им во всех своих поступках.

Так, например, носить немецкое платье Прохора Порфирыча побуждало не только благородство, но и расчет. "Случись, - говорит он, - пожар, примерно, твое дело сторона... Так-то!"

И действительно, в то время, когда руки полицейских (порастеряевски "хозяйных") тащили за шивороты толпы разных чуек и чемерок и когда эти чуйки среди огня рвали голыми руками раскаленные листы железа, изредка подставляя лицо и спину под струю воды, чтоб не сгореть, - в эту пору Прохор Порфирыч мирно стоял среди благородных людей и спокойным голосом объяснял соседу:

- ...Извольте видеть, столб-от... белый-с?

- Да?

- Это все из-за самых пустяков происходит. Потому теперича из верхних слоев тяга с одного конца ударяет, а снизу-то... уж она опять тоже отшибку дает... Извольте взглянуть, как оттуда понесло...

И Прохор Порфирыч, поднимая руку вверх, поворачивался лицом к ветру.

Чем более Прохор Порфирыч убеждался в справедливости своих взглядов, тем вдумчивее становилась его физиономия.

Часто во время работы в своей мастерской Прохор Порфирыч один-одинешенек вел какие-то отрывочные разговоры вслух, доверяя свои мысли станку и сырью, почернелым стенам.

"Черти! право, черти! - слышалось тогда в мастерской. - Ваше дело путать... колесом ходить. Нет, я тебе разберу авчину-то!.." Но если случалось, что Прохор Порфирыч забежал на минутку к какому-нибудь знакомому чиновнику (знакомые его были исключительно чиновники и вообще люди благородные), то здесь сразу прорывалась вся его сдержанность и все тайные размышления вылетали наружу; он особенно любил говорить о своих делах именно с чиновником, потому что всякий чиновник умеет разговаривать: у места говорит "да", у места "нет" и всегда кстати задает вопросы.

Если же, паче чаяния, чиновник и не понимает, в чем дело, то уж зато отнюдь

не противоречит.

Сидя где-нибудь в углу в тесной квартирке одного из своих знакомых чиновников, Прохор Порфирыч не спеша прихлебывал горячий чай и не переставая говорил.

- Вот вы изволили, Иван Иванович, разговаривать - времена-то теперь тугие-с.

- Да-да! - вскидывая ногу на ногу, говорил чиновник.

- Да-да-с; а ежели говорить как следует, то есть по чистой совести, умному человеку по теперешнему времени нет лучше, превосходнее... Особливо с нашим народом, с голью, с этим народом - рай!

- Рай?

Чиновник встряхивал от удивления головой.

- Ей-ей-с!.. Главная-то наша досада - не с чем взяться!..

Хоть бы мало-маленько силишки в руки взять, как есть - первое дело!.. Одно: умей наметить, расчесть!.. Приложился - "навылет". Вот, говорят: "хозяева задавили!" Хорошо. Будем так говорить: надели я нашего брата, гольтепу, всем по малости, чтобы, одно слово, в полное удовольствие, - как вы полагаете, почувствуется?

Чиновник всматривался в лицо Прохора Порфирыча и нерешительно произносил:

- М-мудрено!

- Ни в жисть! Ему надо по крайности десять годов пьянствовать, чтобы в настоящее понятие войти. А покуда он такие "алимонины" пукает, умному человеку не околевать... не из чего... Лучше же я его в полоумстве захвачу, потому полоумство это мне расчет составляет... Так ли я говорю?

- Что там!.. Народ как есть!..

Чиновник наливал чай и, указывая Порфирычу на чашку, прибавлял:

- Ну-ко... опрокинь!

Порфирыч брал чашку, садился на прежнее место и продолжал развивать перед чиновником теорию о том, как бы "надо" по-настоящему, "ежели б без полоумства". Понижая почти до шепота свой голос, словно что утаивая от кого-то, он исчислял все выгоды рассудительного житья: "тогда бы и работа ходчей", и "сам бы тобой дорожил", и "был бы ты на человека похож", шептал он, - и как ни был сообразителен чиновник, он поддавался своему дрогнувшему сердцу и с скорбью произносил, что хорошо бы надоумить "ребят"; но тут же, принимая в расчет "полоумство", опять приходил в себя и убеждался, что "их, чертей", надоумить нет никакой возможности. Иронический взгляд и улыбка Порфирыча, последовавшая за таким заключением, неожиданно поражали чиновника...

- Надоумить! - возразил Порфирыч, не изменяя улыбающегося лица. Напротив того, Иван Иванович, надоумить его можно в одну секунду... Человек, который имеет настоящую словесность, может это оборудовать с маху. Скажет он им:

"Черти! аль вы очумели?.. Так и так..." и такое и прочее...

В единую минуточку они отойдут... от хозяина... Но что же из этого выходит? А то, что этому словеснику шею они свернут, тоже не мешкая... "Отбить - отбил, а работы нету!" Хозяин, он перетерпит, а наш брат на вторые сутки заголосит... Брюхото, оно - первое дело - в кабак!.. В ту пору ему утерпеть нельзя... А хозяин с благочинностью взял полштоф в руку, поднял его превыше головы для повсе-

местного виду: "Ребятюшки!" Так и хлынут к нему... В ту пору хозяин может их нажимать даже без границ... Это расчет-с большой!

Снова поддакивает чиновник и, желая не уронить себя на этот раз, уже смело выводит заключение, что всему горю голова - "водка!"... Порфирыч на этот раз даже засмеялся...

Чиновник не знал, что и подумать.

- Водка-с! - ухмыляясь, спокойно говорил Порфирыч. - Водка, она ничуть ничего в этом деле... Она дана человеку на пользу... Потому она имеет в себе лекарственное... Как кто возьмется... А главное дело опять же это полоумство... Как вы обсудите: мальчонка по тринадцатому году, и горя-то он настоящего не видал, а ведь норовит тем же следом в кабаки!..

И пьет он "на спор", "кто больше"... Облопаются, с позволения сказать, как бесенята, а потом товарищи и тащат по домам на закорках.

Чиновник недоумевал.

- Нет-с, Иван Иванович, в нашем быту разобрать, что с чего первоначал взяло, невозможно!.. У нас доброе ли дело, случится, сделают тебе - и то сдуру; пакость - и это опять сдуру... Изволь разбирать!.. То ты к нему на козе не подъедешь, потому он три полштофа обошел, а в другое время я его за маленькую (рюмку) получу со всем с генеральством его. Опять с женой драка... Несусветное перекабыльство! [Слово это происходит от "кабы". Разговор, в котором "кабы"

упоминается часто (кабы то-то да кабы другое... кабы ежели и т. д.), очевидно, разговор не дельный; таким образом, "перекабыльство" - то же, что бестолковое "галдение" в разговоре и бессмыслица в поступках. (Здесь и далее примеч. автора.)] - Перекабыльство? - переспрашивает чиновник.

- Да больше ничего, что одно перекабыльство. Потому жить-то зачем - они не знают... Вот-с! Вот к этому-то я и говорю насчет теперешнего времени... Прежде он, дурак полоумный, дело путал, справиться не мог, а теперь-то, по нынешним-то временам, он уж и вовсе ничего не понимает...

Умный человек тут и хватай!.. Подкараулил минутку - только пяточком помахайвай... Ходи да помахайвай - твое!.. Горе мое - не с чем взяться. А уж то-то бы хорошо! Хоть бы маломало силенки... Вместе с этими дьяволами умному человеку издыхать? Это уж пустое дело. Лучше же я натрафлю да, господи благослови, сам ему на шею сяду.

Тут вытаращил глаза даже сам Прохор Порфирыч; чиновник делал то же еще ранее своего собеседника. Долго длилось самое упорное молчание...

- Время-то теперь, Порфирыч, - нерешительно бормотал чиновник, - время, оно...

- Время теперь самое настоящее!.. Только умей наметить, разжечь в самую точку!..

Прохор Порфирыч сказал все. Некоторое волнение, охватившее его при конце рассуждений и намерений, только что высказанных, прошло. Разговор плелся тихо, пополам с зевотой; толковали о том, что "от праведного труда будешь не богат, а горбат". Заходила речь о ворах, которые в последнее время расплодились в городе, и Прохор Порфирыч приводил по этому случаю какую-то пословицу, и т. д. Из приличия, на прощанье, Порфирыч задавал чиновнику еще несколько посторонних вопросов и наконец уходил; чиновник высовывался в окно и, увидав своего собеседника на тротуаре, считал нужным тоже что-нибудь

сказать.

- Так перекабыльство? - спрашивал он.

Порфирыч утверждал это кивком головы и утвердительным движением руки. Оставшись один, чиновник непременно думал уже про себя: "Однако этот Прошка - значительная язва будет в скором времени!.."

Как видно, намерения Порфирыча насчет своего брата, рабочего человека, были не совсем чисты. Самым яростным желанием его в ту пору было засесть сказанному брату на шею и орудовать, пользуясь минутами его "полоумства". Между тем Прохор Порфирыч сам на своих плечах выносил и выносит всю тяготу жизни рабочего человека, имея преимущество только в трезвости, в обстоятельном расчете всякого дела и больше всего в благородном происхождении, которое как-то уж и без расчета и без сознательных причин заставляло его крепче держаться своих взглядов и клало какую-то грань между ним и чумазым мастеровым народом. Ему и в голову не могло прийти так же упорно, как упорно размышлял он о собственной участи, размышлять о том, что перекабыльство и полоумство, которые он усматривает в нравах своих собратий (питье водки на спор, битье жены безо время), что все это порождено слишком долгим горем, все покорившим косушке, которая и царила надо всем, заняв по крайней мере три доли в каждом действии, поступке и без того отуманенного рассудка. Прохору Порфирычу некогда было разбирать этого; у него была своя забота, с которою только-только справиться.

"Душа пить-есть хочет, да штаны сшей!" - говорил он и резонно не хотел иметь ничего общего с пропащим народом. А народ этот он понимал и рассказывал про него так:

- Был я мальчиком по двенадцатому году и, спасибо братцу, в то время грамоте выучился: читать-писать... Хоть, признаться сказать, вся моего братца эта учеба в том и состояла, как бы кого линейкой обеспокоить, то есть по затылку...

И дрались они, братец, не то чтобы с сердец, а даже от большого уныния... Скука. Обучившись я грамоте, после того не знают, по какой меня части пустить... Маменька Глафира Сергевна от сидельцев без памяти "лучше житья нету", барин говорят: "как знаешь", а станем у братца спрашивать, то опять же это уныние... Был я у мальчика одного, знакомого, он у мастера работал - "иди, говорит, к нам...". Поглядел я на станок (по токарному мастерству они были), колеса эти разные, винты, пойдет чесать, пойдет - откуда что возьмется...

замле! "Хочу да хочу, отдай да отдай к мастеру!.. Никуда больше не пойду!.." Молил, просил, маменька серчают, братец и обругал и прибил - ну все же отдали. Только не к тому мастеру, а к растеряевскому: чтобы поближе к своим...

Радуюсь я: думаю, вот сейчас я эту машину превзойду до последней поршинки. Только что же случилось: как я был изумлен, когда, три года у мастера живши, ни разу к этому станку доступу не получил, потому, собственно, что был он, этот станок, пропит... Ужаснулся я в то время! Бедность была непокрытая, истинно уж ни кола, ни двора, ни куриного пера...

Вся избенка-то была вот этак отграничить, и лежало в этой избе корыто с глиной, а боле, кажется, ничего и не было... Стал я об таком ученье удивляться, отыскал ребят - было нас учеников трое, - говорю: "Что же, ребяташки, когда же это ученье будет?.." А один из них, Ершом звали, худой, глаза большущие, маленький, волоса топорщатся, шепчет мне ровно бы басом: "Ты, говорит, не гово-

ри про это... А лучше того ноне ночью, как с покражи придем, я тебе про дьяволов сказку скажу... Молчи. Я тебя на все наведу..." - "С какой с покражи?" - "Ты, Проха, громко не кричи, лучше ты шептуном, когда тебе что надо. А покража у нас каждую ночь положена, потому что жрать нам с хозяевами нечего, так мы это все ворует с соседских огородов..." Тут я бога вспомнил... залился, залился - поздно! А Ершишка утешает и все шепчет: "Ты, друг, не робей, потому я тебя полюбил и ноне скажу сказку про Ефиопа... Я их и по ночам вижу..." Хозяина все дома не было.

Подошел вечер, Ершишко говорит: "Пора, Проха, на кражу..."

Перва пойдем дров добывать". Пошли мы все троичкой на пустошь, а на пустоши стояла гнилая изба: может, года с три в ней никто не жил, и большим страхом от нее отдавало... Перва мимо пройти боялись, потом посмелей стали, в окошечко заглянули, потом того, в нутро пробрались: лежит на полу мертвый петух и тряпка с кровью... Начали слоняться туда бродяги, нищие и пьяные, приказный один зарезался... А после того, помаленьку, кто ставню оторвет, кто дверь - и пошли таскать...

Так что изба эта целой улице была отопление... Приходим, а уж там и раньше нас набралось разного голого народу: тащат что под руку попало, а то и друг у дружки рвут; завидели нашу братию - гнать; мы на них пошли; они - дубьем... А Ершишко словно полковой: "Ребята, говорит, не отставай!" Как пошли они этого беднягу, Ершонка, трепать - только и видно, как он по воздуху летает, только подшвыривают - как есть в лапту...

Но Ершонок не мало храбрости сохранил и, летая по воздуху, кричит: "Нет, врешь! посмотрим, кто кого..." Нахожу я Ерша на крапиве - лежит он и шипит: "Башку усшибли!" Стал я его жалеть. "Ничего, говорит, Проха, все же я не одно поленце получил... А этому Ефремову, ундеру, я докажу, как он меня ноне избил... А тебе я за твою жалость две сказки скажу, ты будешь доволен..." Отсюда пошли мы в другое место воровать:

репу, капусту, огурцы... Тут дело обошлось без помехи, даже так, что яблок себе натрясли, никто не слыхал... Целую ночь Ершонок все мне сказки сказывал и в смертельную дрожь меня ввел своим шептаньем, под конец начал даже, ровню сумасшедший, домового мне показывать. "Вон, говорит, я вижу".

Спали мы в сенцах, ночь была непогожая, пробрало нас водой до костей, по улице вода гудела... А хозяйина все еще не было.

Только под утро, чуть светок, слышишь-послышишь, в сенную дверь стучатся. Отворили: нищая стоит. "Поглядите-ко, братцы, не ваш ли это человек, бабы подняли..." Сейчас Ерш вскочил. "Я это все, говорит, знаю!" Побегли и мы... Глядим, две нищие в лохмотьях несут человека, только-только рубаха осталась: нашли они его в канаве, и всю ночь через него вода бежала. Ерш живым манером его оглянул, - "наш, говорит, осторожней; за мной!". Принесли они его в избу, свалили мокрого наземь; хотели было нищие награждения попросить, ну только хозяйка сказала: "За что я вас буду награждать, в случае он жив? Если б он издох, то я вам большую бы милостыню подала!" По правде сказать, хозяйка наша не то чтобы очень тосковала: начала она у одного барина приживать... кой-чем прислуживала...

Так мне грустно было, так грустно, не мог я горести своей удержать, побег домой, к маменьке... Залился, рассказал, как все было, какое началось ученье...

Но маменька еще того пуше меня огорчила, так как совсем от меня отказалась. Стал я братца умолять, но и братец, разогорчившись рассказом моим, опять-таки шибко меня потрепал. Надо, стало быть, какникак терпеть!

Между прочим, к ночи хозяин почувствовался. Хозяйки не было. Подзывает он меня и говорит:

"Смотри у меня, старайся:..."

"Буду!" - говорю...

"То-то!"

И тут же он безо всякой злобы развернулся мне в щеку, дабы я узнал, какова в руке его тяжесть, для весу, чтобы через эту боль помнил я и соблюдал осторожность...

И началась с этого времени моя каторжная жизнь!

Ели мы, когда что случится да когда своруешь; спали на мокроте, на дожде... А ученья все не было, не начиналось; все хозяин, когда трезвый, от бога ждал, вот большая работа набегит, вот набегит... А покуда что, все он хмельной, все нетнет да вытянет палкой кого... Случалось, в эту пору навернется работишка - в ножницах винт поправить или бы какому чиновнику на палку наконечник насадить. Тогда хозяин радуется и чиновнику говорит: "будьте покойны!" Но подумавши, полагал так, что это дело "успеется", и звал Ерша шутку шутить...

"Ершило! - говорил он, - можешь ты мне эту палку заговорить?..."

"Могу! В лучшем виде!"

"Чтобы ее никакая сила не взяла?..."

"Могу!"

"Ну, заговаривай!"

Ерш сейчас начнет разными словами сыпать (где-то он научился заговоры заговаривать) - не поймешь, откуда это он их набрался. Сыплет-сыплет...

"Готово!" - говорит.

"А ежели ты врешь, то могу я ее в пропой пустить?..."

"Я, - говорит Ерш, - в жисть мою не врал, а заговорено это дело наглухо..."

Тогда хозяин берет без всякого труда палку, дает Ершу по затылку и несет ее в кабак.

"Ах ты, идолова порода, - кричит Ерш, - что я сделал!

Ведь я самое главное слово пропустил!.. А то бы ни в жисть ему этой палки не утащить... Ах я, разиня, разиня!..."

А хозяину, главное, "к случаю" как бы прицепиться: "ведь проспори!"

Придет хозяин пьяный, тут уж всем достается... На нашу долю больше всех! Ежели жена случится, то сейчас норовит она от мужа либо под кровать, либо на чердак. Хозяин почнет шастать, искать; найдет - драка! И вся эта битва с женой - "зачем спряталась!"

Случится, хозяин отрезвеет, в ту пору он тихий, то есть как есть перед всеми виноват...

Тут мы к нему, бывало, пристанем:

"Дяденька, когда ж ученье-то?..."

"Ребятушки, - говорит, - дайте вы, ради господа, мне маленечко в ум войти.

Может, - говорит, - хоть чужие молитвы об нас бог услышит и пошлет нам какого заступника.

Тогда не токмо всех вас в единую минуточку выгучу, еще у всякого прощения